Мои кочегарки. Воспоминания.

Юрий Колкер

SHOUT
SHARE
IT

- 1. СЕКТАНТЫ
- 2. В СТОРОНУ ХОДАСЕВИЧА
- 3. ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ
- 4. К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ

Юрий Колкер

МОИ КОЧЕГАРКИ

ВОСПОМИНАНИЯ

(2007)

1. СЕКТАНТЫ

Где теперь эти двое, эта пара? Кто поблагодарил их? А ведь они кое-что сделали. Не для нас делали. Стихов не читали, живописью не интересовались. Делали для себя, по велению совести, но без этого слова на устах. Перед Богом ходили...

В декабре 1979 года началась афганская война, и я понял: больше не могу. Цинизм советской власти перешел последнюю черту. Нужно выйти — не *на площадь*, нет, моей гибели никто бы не заметил, а хоть *в другое пространство*. Иначе не удержать последних крох того, ради чего стоит жить.

От приятеля, безвестного стихотворца из многотысячной армии самиздата, получил я, в качестве пароля, имя: Иван Павлович Шкирка, начальник участка треста Теплоэнерго-3. Берет, было сказано, людей с дипломами (и с неблагозвучными фамилиями) на должности операторов газовых котельных. Либерал, стало быть, если не прямой диссидент.

Оказался Иван Павлович прост, не из интеллигенции. Места для меня у него не нашлось, но он отправил меня на другой участок, на 1-й Октябрьский Адмиралтейского предприятия того же треста, к Тамаре Васильевне Голубевой, и та — взяла, но не кочегаром: уговорила наняться сменным мастером. Я уступил. Разом сменить статус мешала свирепая, вошедшая в кровь система советских предрассудков. В стране труда — труд рабочего и вообще-то презирался, а уж кочегарка была просто социальным дном.

Нашел я Тамару Васильевну по адресу: улица Декабристов, дом 14. Во дворе росли два громадных каштана, в глубине, в двухэтажном флигеле, помещалась котельная, над котельной — начальство участка, некто Коломийцев и с ним всякие канцелярии.

Юрий Колкер перед кочегаркой на Гражданской улице (не путать с Гражданским проспектом), в свой первый приезд в Россию в 1994

Тамара Васильевна тоже была проста до нельзя, и тоже — особенная. Эта особенность не сразу проступала. Занималась начальница только работой: котлами, трубами, дымоходами, задвижками, запорными клапанами. Хлопотала, ни минуты не сидела, сложа руки, звонила, распоряжалась, бегала по котельным, сердилась — потому что всегда было на что сердиться; подчиненные трудовым энтузиазмом не кипели. Под ее началом находилось человек семьдесят, в основном женщины: молодые, из приезжих и неустроенных; пожилые, из потерянных; мужчины же — счетом на единицы, и чуть не сплошь — старые алкоголики. Работа, между прочим, грязная была: краска, смазка, цемент, асбест... не говоря о людях. При всём том — отличала

Тамару Васильевну особенность, которую, по прошествии десятилетий, не могу определить иначе как словом *чистота*. Чистота и цельность. Английское integrity подходит для ее характеристики. Вижу эту женщину ясно: высокая, хрупкая и строгая, да что там! властная, с прихваченными платком волосами. Меня, помнится, ни о чем она не спросила, хоть и поняла с первого взгляда, что я *из других* . Избегала праздных разговоров. Умела улыбаться. Было ей в начале 1980-го (как я знаю *теперь*) неполных 39 лет. Мне — на пять лет меньше.

В кочегарки я ушел из учреждения с апокалипсическим именем СевНИИГиМ. Наука там жалась к стене, как нищенка. Я состоял в вычислительном центре, писал программы на вымершем компьютерном языке, сам набивал их на перфокарты. Спустя месяц после моей метаморфозы позвонила мне оттуда программистка Галя, и вскоре появилась у меня со своим мужем. Он, сколько помню, работал дворником, но хотел в кочегары. Тоже был из образованных и протестующих, из тех, кто больше *не мог с ними* . Звали его Саша Кобак. Я привел его к Тамаре Васильевне; он стал вторым сменным мастером. Третьим — через Кобака — был принят на такую же должность Слава Долинин. Оба принадлежали *второй культуре*: полуподпольной среде, в которой каждый в той или иной степени противостоял пошлому и бездарному режиму. От Кобака нить тянулась к литераторам, от Долинина — к борьбе и заговору, к Народно-трудовому союзу, политической партии, в которой он состоял.

В последующие месяцы на 1-й Октябрьский участок хлынули отверженные всех мастей: стихотворцы, живописцы, выкресты, шалопаи, подвижники.

Вторая культура дала меньше, чем казалось при начале свобод в 1990-е годы — и чем кажется ее ветеранам сегодня. Бродский на поверку оказался одним из лучших поэтов эпохи Бродского. От других шумных в ту пору имен не осталось ничего. Но вместе с тем общественное значение этой среды было велико, а для ее участников — громадно. Это был выход из советского тупика, из круговой поруки лжи, безумия и подлости.

С Кобаком и Долининым я поверхностно подружился, но между нами сразу обнаружился эстетический барьер, на деле шедший дальше эстетики: затрагивавший имена. Дилемма *с ними или против них* читалось в искусстве так: либо советский академизм, либо — авангард во всех его павлиньих перьях. Я отвергал и то, и другое. Говорил тогда, повторю и теперь: сознательный поиск *новизны* — всё равно, в искусстве или политике, — сперва пошлость, а потом — подлость, жестокость. В политике авангардизм ведет к нацизму и большевизму (теперь —

и к терроризму), в искусстве — к черному квадрату, к консервной банке с экскрементами художника в качестве произведения искусства. Новизна как самоцель преступна. Есть Бог или нет его, режиссура мирового спектакля должна оставаться *в его руках*. Традиция умнее нас. XX век свел эпоху Возрождения к абсурду, увенчал ее режиссурой обезумевшего человека. Это был век режиссуры. Неслучайно и профессия режиссера, карикатурная, неизвестная при Эсхиле и Шекспире, разрослась исполинским мухомором.

Спор наш можно обозначить именами. Не только Бродский, но и Виктор Кривулин ходил у моих оппонентов в гениальных поэтах, я же, зная его с отрочества, не соглашался признать за ним и таланта (разве что — талант вождя). Спор, собственно, шел с Кобаком; Долинин «знал, как надо» и был слишком поглощен политикой. Как это всегда бывает при твердом несогласии и тесном контакте, в итоге этот спор привел меня и Кобака к ссоре.

Олег Охапкин, Владимир Ханан, Елена Пудовкина, Борис Иванов, Сергей Коровин — вот некоторые из литераторов, захваченных тогдашним котельным движением. Завершилось оно в 1990-е годы журналом ТОПКА (Творческое объединение пресловутых котельных авторов), последним машинописным изданием. Его выпускала Ольга Бешенковская (1947-2006); первый номер открывался ее статьей «Поэтов — в ТОПКУ».

Иногда в котельных сходились большие компании. Появлялись и те, кто не кочегарил. Среди полуподпольных авторов были заметны люди, в 1960-е прошедшие через поэтические семинары при дворце пионеров. В подцензурную литературу никто из них не вышел. Помимо советского гнета мешало то, что *автобус не резиновый*... У Лены Пудовкиной, «на Адмиралтейской, 3» я, спустя десятилетия после дворцовских лет, увидел Сергея Стратановского, единственного представителя авангарда, в чей талант верил. Это было в 1981-м. К этому времени я уже *спланировал* из сменных мастеров в кочегары.

По насыщению интеллектуалами тогдашний Ленинград стоял на первом месте в мире. Интеллектуалами — и неудачниками. В Москве были кружки; в Ленинграде вторая литература поневоле составила единый круг — в результате кромешного гнета, смешавшего всё и вся, вогнавшего в один слой тех, кто при других обстоятельствах руки бы друг другу не подавал... Естественные науки тоже были представлены своими отверженными.

Машинописный журнал *Часы* (Борис Иванов, Борис Останин) тоже готовился где-то здесь, у газовых котлов. Литературная жизнь кипела на 1-м Октябрьском. Оборвалась она 22 июня 1982

года — арестом Славы Долинина.

...Не знаю, пострадала ли от всего этого оживления Тамара Васильевна Голубева. Может, и нет. Альтернативой *диссиде* были для котельного начальства другие проблемные люди, другие формы эскапизма. Начальство знало это; ему приходилось мириться с тем, что бодрые советские люди в кочегарки не шли. Не знаю, что происходило на участке у Ивана Павловича Шкирки. Может быть, что-то похожее.

Я не сразу понял, что эти двое — пара: венчанная пара, не ходившая в советский ЗАГС; что они — тоже эскаписты, но другого толка; *другие сектанты*. Это простое соображение осенило меня при странных обстоятельствах.

Рядом с людьми пишущими, деятельными и честолюбивыми, громадным хвостом шел по участку fringe: те, кто просто отвергал советскую действительность; мечтатели всех мастей. Среди них выделялись новообращенные православные, чуть не каждый второй — из евреев. Смутно помню мрачноватую молодую женщину, сидевшую в кочегарке на улице Плеханова. Прослышав, что она крестилась, Тамара Васильевна спросила ее:

— *Тебе-то* зачем?!

И я догадался. Жаль, ни о чем Голубеву не спросил. Слишком подавлен был своими тогдашними бедами.

Всё религиозное народное творчество в России, до Бердяева и Франка, до ученых богословов, всегда шло не в сторону разработки Нового завета (как на Западе), а в сторону *от него*, в сторону Ветхого завета. В первой половине XIX века в губерниях насчитывалось до двух миллионов субботников разных оттенков. Под влиянием одного из них, казака Тимофея Бондарева, перешедшего в иудаизм, начал свою проповедь и свою пахоту Лев Толстой. Хоперский казачий полк, с Кубани, какое-то время почти целиком состоял из ветхозаветных сектантов-раскольников, которым только полкового раввина не доставало. Жидовствовала на Дону громадная станица Александровская, потом ставшая городом. Места эти, к слову сказать, очень хазарские. Традиция перешагнула через этнос. Иные и слово *казак* выводят из Хазарии. На иврите *козак* означает сильный .

Что сказала Тамара Васильевна крестившейся еврейке? То, что говорит апостол в Послании к римлянам (11, 26): «весь Израиль спасется». Только и всего. Незачем еврею креститься.

Где они сейчас, эти двое? Собственно говоря, у меня и адрес их есть, я заглянул в справочник, — да навестить не решусь. Я о другом спрашиваю. Где они в новой России, унижающей христианство невиданным доселе образом: массовым хамским ханжеством?

2. В СТОРОНУ ХОДАСЕВИЧА

1-й Октябрьский участок Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 простирался от «Московской три» до «Адмиралтейской шесть», по площади приближался к Монако, по населению превосходил Андорру. Сосредоточенной в этом княжестве литературы хватило бы на иную африканскую державу. Была тут своя печать, свои салоны, свои гении. Граница с миром внешним, советским, очень чувствовалась. Атмосферу пронизывала достоевская мистика. Присутствовала и чертовщинка — в абсурде ситуаций и положений, в непомерных честолюбиях, даже — в именах: среди кочегаривших молодых женщин помню Люду Чертолясову и Катю Бесогонову. Половина полуподпольных стихотворцев тянула в сторону обэриутов.

Котельная в доме 6 по Адмиралтейской набережной, вид со двора, 2010

В моих беседах с Сашей Кобаком всплыл Ходасевич. Его я противопоставлял и советской литературе, и гонимому ею

авангарду. Вот, говорил я, узенький мост, перекинутый над пошлостью, одинаковой справа и слева; Ходасевич выше и чище не только сегодняшних *литературных передвижников*, но и *большой четверки*. Цветаева криклива, Пастернак физиологичен, приземлен, Мандельштам манерен, Ахматова отдает квасом. Хлебникова я отказывался признать поэтом; про Блока (в «анкете о Блоке»; вопросник — к столетию поэта — распространила среди котельных авторов редакция машинописного журнала *Диалог*) писал, что он устарел, поскольку контекст эпохи ушел в песок. От стихов я требовал естественности и точности. Ненавидел расслабленность. Всеми силами души презирал усеченную рифму (типа «демократ-вчера»), называл ее уступкой черни. От ассонансов (вроде «чирикала-чернильница» у Сосноры) в бешенство впадал. Рифма должна быть опрятна… Заметьте: на дворе — безрассветная ночь, дышать нечем, быт страшен, до получки трех рублей не хватает, работаю сизифом, жена и ребенок хронически больны, соседка-шизофреничка в коммуналке какает на пол в коридоре… а вопросом жизни и смерти становится рифма. Но это и понятно. Пуризм — морфий обездоленных. Другие спасались, забиваясь в другие щели.

В моде были квартирные лекции и семинары; тоже — форма эскапизма и протеста. Кобак предложил мне рассказать о Ходасевиче у него дома, в кругу знакомых. Но что же я знал о Ходасевиче? *Тяжелую лиру* — наизусть: и всё. Ходасевич был для меня идеей, эталоном вкуса; реинканрацией Боратынского в XX веке. Пришлось готовиться. Несколько раз я сходил в Публичку. Осенью 1980-го семинар состоялся — в деревянном доме на улице Курчатова. За семинаром последовало предложение написать о Ходасевиче для журнала *Часы*; тоже — от Кобака. Никакой прозы я отродясь не писал, но принялся за дело с воодушевлением. Чтобы иметь больше досуга, из сменных мастеров перешел в кочегары. Писал в основном в котельной «на Адмиралтейской шесть»; писал в общей тетради в клетку, остро отточенным карандашом, микроскопическими буквами, не выпускал из рук стиральную резинку. Исходил из простого соображения: жизнь и стихи лирического поэта — неразрывное целое; отделять одно от другого — формалистический трюк. Почти сразу нашел скрипичный ключ, ставший названием статьи: *Айдесская прохлада*.

Из двух подходов — спекулятивного и компилятивного — я выбрал второй, менее выигрышный, трудоемкий. Решил не декларировать и не утверждать, сколько есть сил, а строить статью по кирпичику, вглядываясь в эпоху и лица, — уважать читателя, сделать очевидное для меня очевидным для него, себя

же спрятать... и был потрясен тем, как много косвенно говоришь о себе, *честно и самоотверженно* говоря о другом. Это сразу стало для меня принципом в прозе: избегать самовитого местоимения всюду, где без него можно обойтись. Всё равно ведь о себе пишем, что бы ни писали... Работал я над статьей не менее полугода, каждую свободную минуту, а потом еще долго исправлял. По объему получилась небольшая монография.

Статья удалась и произвела движение в умах. Ее читают до сих пор, на нее ссылаются; тщательно написанный текст живет долго. Конечно, *тогда* — Ходасевич был автором запретным и забытым. Это послужило трамплином моей статье и моей известности. Незнакомый человек, московский профессор Ю.И.Левин (мой полный тезка), писал через три года после опубликования *Айдесской прохлады*: «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли...» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 17, 1986). Еще выразительнее оказался другой отзыв. На библейском конгрессе в Иерусалиме в 1993 году я познакомился с лингвисткой и пушкинисткой Н.Б., поразившей меня образованностью и живостью ума. Услышав мое имя, она сперва не хотела верить: «Это же псевдоним!», а когда поверила, кинулась мне на шею со словами: «Я вас люблю!».

В процессе работы над статьей я многие часы просидел в Публичке. Кандидатский диплом открыл мне доступ в какой-то не совсем обычный читальный зал, хоть и не в спецхран, конечно. Просмотрел и прочел я горы книг и журналов. Многого не хватало — и нужные книги я подчас получал не в знаменитом книгохранилище, а я прямо в котельной. Приносили знакомые и незнакомые, прослышавшие о моем занятии; бывало, передавали со сменщиком. Дивное время!

Статья еще не была закончена, когда у меня в руках оказался парижский адрес Зинаиды Алексеевны Шаховской (1906-2001), редактировавшей *Русскую мысль*. Я написал ей — в полной уверенности, что либо мое письмо не дойдет, либо она не ответит, либо не дойдет ответ. Ответ пришел через две недели. Это было *письмо из России*. Завязался переписка, длившаяся десятилетия; в эмиграции я дважды виделся с Шаховской, брал у нее интервью для Би-Би-Си (и она почему-то предложила мне быть душеприказчиком ее литературного наследия). С Ходасевичем же Зинаида Алексеевна мне в письмах не слишком помогла; главное, что она знала, вошло в ее парижскую книгу *Отражения*, которую мне удалось добыть еще до нашего заочного знакомства.

Не успела моя статья появиться в *Часах*, как последовало еще одно предложение: подготовить двухтомник Ходасевича для парижского издательства La Presse Libre. Исходило оно от поэтессы Тамары Буковской, из кругов новых православных, — и с Шаховской никак для меня связано не было. До сих пор не знаю, что за механизмы тут действовали. Я ответил: буду готовить двухтомник для самиздата, сам отпечатаю его в пяти-шести экземплярах — и раздам друзьям; а от дальнейшего меня увольте. Поручиться за себя не могу; не знаю, как поведу себя под пыткой; боюсь смалодушничать. Парижскому изданию, конечно, буду рад, но переправляйте без меня, помимо меня.

Первый том был готов в 1981 году, второй — 10 ноября 1982 года, в самый день смерти Брежнева. Удалось добыть и отпечатать портреты. До меня Ходасевича не комментировали; комментарии, вместе с *Айдесской прохладой*, составляли изюминку книги, хотя, конечно, и более полного собрания до той поры не было. Я намеренно строил комментарии не «в научном ключе». В литературоведение как науку — не верил. Якобсон, Тынянов, Эйхенбаум, Лидия Гинзбург — не опровержение моим словам. Литература исследуется только средствами литературы. Литературовед может быть архивистом — и он должен быть *авантюристом*: мыслителем, писателем. Но где же эти качества у рядового *академического* литературоведа?

Весной 1983 года, в другой кочегарке, «на Уткиной даче» при слиянии Охты и Оккервиля, получил я от своего сменщика первый том парижского Ходасевича — и успел показать его лежавшей при смерти матери.

В июне 1984 года, оказавшись (после четырех лет *отказа*) в эмиграции, я тотчас написал Нине Берберовой (1901-1993) в Принстон; подруга Ходасевича преподавала там русскую литературу. Мой двухтомник она знала и, в целом, одобряла; но едва наметившаяся между нами эпистолярная дружба вскоре оборвалась. Берберова, среди прочего, писала, что «в западных университетах литературу изучают, как химию». Я был задет за живое и ответил бестактностью: что литература не формой жива, а нравственным наполнением, отсутствующим в химии; что литературоведы, с их пошлым наукообразием, не видят главного, выплескивают ребенка с мыльной пеной. Было и другое: Берберова предложила мне передать собранные мною материалы американцу, готовившему многотомное собрание Ходасевича. «С чего бы это?» — спрашивал я ее в письме. — Я рисковал, работал в жутких условиях, а эти сидят на зарплатах — и когда в СССР появляются, перед ними все архивы открыты...» Берберова ответила вопросом: «Отчего все приезжающие из России так

надменны?» На этом дело и кончилось. В 1986 году она не пригласила меня на конференцию по случаю столетия Ходасевича. Думала, верно, досадить мне, но промахнулась; я жил не этим. Занятие Ходасевичем позволило мне разом выговорить мою эстетику (а значит, *и этику*) на стихах любимого поэта; только и всего.

В ленинградском полуподполье Ходасевич еще резче отдалил меня от mainstream'а, закрепил мое эстетическое одиночество. В машинописных журналах *Часы* и *Обводный канал* появились на статью возражения, которых я так никогда и не прочел.

3. ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ

Мы были серьезные люди: серьезно относились к своему полуподпольному сочинительству. С каменной серьезностью. Верили, что принадлежим истории. Шло это, хм, из советской литературы. Большевизм дивным образом законсервировал в нашем сознании XIX век. Все мы жили в заповеднике. Знали (вместе с большевиками и со всем советским народом), что литература — грозная сила; думали, что мы — сила... Всеобщая грамотность перевернула мир, стерла границу между писателем и читателем, разжаловала священнодействие в ремесло, авгура — в сапожника, — а Россия, спасибо соцреализму, ничего этого не замечала до 1990-х. До Марининой и Дашковых.

ЛЕБЕДЬ, РАК, ЩУКА И ЕЩЕ ОДИН РАК

Одно очень серьезное предприятие было затеяно в январе 1981 года: поэтическая антология непечатных ленинградцев. Идея пришла из *Часов*, от Бориса Иванова и (или) Бориса Останина. Назначили команду: Светлану В. (она же Нестерова и Востокова), Эдуарда Шнейдермана, Вячеслава Долинина и меня. Как тут оказался Долинин? Как представитель мирян. Остальные трое писали стихи. Как оказался я? Для баланса и для четности. Серьезность предполагает представительство, а консерватизм, воинствующий консерватизм, представить было больше решительно некем; я один с гордостью называл себя *реакционером*, с пояснением: «реагирует — живое». Правда, В. тоже тяготела к правому крылу в эстетике, но до моего ретроградства и пуризма не опускалась. В целом *часовщики* неплохо уравновесили бригаду. Шнейдерман относился к традиции почти с таким же отвращением, как я — к новаторству; Долинин, своей эстетики не выстрадавший, живший политической борьбой, верил, что «ветер дует слева». Получалось двое на двое. С каждой стороны — по одному бешеному и одному умеренному.

Собрались в мастерской скульптора Любови Добашиной, жены Шнейдермана. С двумя из трех членов хунты я там и познакомился. Светлану В. прежде ни разу не видел, не слышал ее имени. Оказалась она старше нас с Долининым, моложе

Шнейдермана, умна и хороша собою. С некоторой оторопью я узнал, что она четыре раза *была* замужем; вот, подумал я, жертва своей красоты. Шнейдерман отличался изумительной мягкостью и неправдоподобной корректностью. Долинин был сух, я задирист.

Мастерская помещалась в полуподвальном помещении во дворе 19-го дома по Шпалерной, как раз напротив Шереметевского особняка, тогдашнего Дома писателя, которому мы кукиш собирались показать. Была она уставлена скульптурами из шамотной глины. Глядя на них, я вспоминал слова моего пращура Александра Семеновича Шишкова (1754-1841): «доброта вещества много способствует искусству художника», но держал их при себе, в чужое дело не лез. Там, среди монументов, мы заседали в течение полутора лет, собирались не реже чем раз в две недели, работали старательно, — и, против всяких ожиданий, довели дело до конца. Получился солидный том под названием *Острова. Антология ленинградской неофициальной поэзии. Составители: А. Антипов* [Долинин], *Ю. Колкер, С. Нестерова, Э. Шнейдерман*. Л., 1982. Почему «неофициальной»? Слово это предложил Шнейдерман. Точнее было бы сказать: неподцензурной. Не помню, кто нашел имя для антологии, удачное или, во всяком случае, выразительное. Взято оно из Вагинова: «На островах блаженных есть город Петербург...»

EXEGIMUS MONUMENTUM

Получилось четыреста с лишним страниц. Просмотрено было 6200 стихотворений, 172-х авторов за годы с 1949 по 1980-й. Много это или мало? Мало. Пишущих — были тысячи, многие тысячи. Тысячи пропали бесследно. Так уж русский язык устроен, что от соблазна не уберечься. Пишут все. В быту, ни о какой поэзии не думая, мы нередко говорим чистыми ямбами и хореями, по одной, по две строки кряду; а то и трехсложниками. Писать стихи на этом языке — простейшее из умственных упражнений. Отсюда и соблазн. Где гарантия, что уцелевшие лучше пропавших?

С другой стороны, 172 автора — много, слишком много. Сколько *поэтов* бывает в поколении? Читательское сознание не способно вместить более двадцати; иначе — слово девальвирует. Считаем по десять лет на *литературное* поколение: выходит — по шестьдесят только в замшелом Ленинграде? Вздор. Куда

столько?! Откуда эти стройные ряды? Но перед глазами был союз писателей, где *поэтов* числилось еще больше. Для этого ведь, по умолчанию, антология и затевалась: чтобы показать: нас много, мы — целая литература.

Отобраны в антологию были из 172-х авторов только 79. Уже легче. Перечитываю список. Некоторые и сейчас на слуху — но слух нужно иметь чуткий. В сущности, самые громкие имена, исключая Бродского, — не более чем тихие шаги за сценой. В гремучую обойму не вошел ни один. Разве что Евгений Рейн, но на то он и москвич.

Тут всем нам урок. Во-первых, не стоит быть слишком серьезным, особенно по отношению к себе. Во-вторых и в главных, стихи — маргинальное занятие; они пишутся немногими для немногих. Времена властителей дум канули безвозвратно. Богатство народов и их взрослость направлены против этого детского занятия, тесно (хоть и не прямо) связанного с верой. Бога от поколения к поколению становится в мире всё меньше, бог убывает — и вместе с ним убывает поэзия. С этой печальной истиной нужно смириться совершенно так же, как с мыслью о своей смерти. Взрослым — не до стихов.

СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

В любом коллективе есть лидер. У нас им *естественно* стал Эдуард Шнейдерман. Он был старшим; собирались в *его* мастерской; он проявил больше терпения и серьезности, чем другие; менее других под конец остыл к этому предприятию; вызвался написать предисловие к сборнику, и никто этого права у него не оспорил. Помню, что мне хотелось поправить и переписать его серьезный текст. В нем всё правильно, всё честно... «Главный критерий отбора был качественный. Составители стремились чутко вслушаться в голос поэта, уловить его своеобразие... При отборе авторов мы руководствовались следующими принципами ... для поэтов, выбывших из Ленинграда в разных направлениях...» Но я сдержался. В антологию вошло столько авторов, казавшихся мне *голыми щапами*, что я под конец уже не считал это предприятие своим.

Отбирали мы не имена, а стихотворения. На каждом каждый ставил плюс или минус. Исходили из того, что иные авторы скорее слывут поэтами, чем являются. Здесь, разумеется, действовало задетое самолюбие: из нас-то, из составителей, к

тому времени никто не добился даже «широкой известности в узких кругах», как Елена Шварц или Кривулин. Этот подход согласовался с тем, ради чего *часовщики* затевали антологию: им, думаю, хотелось сказать городу и миру, что ленинградское полуподполье дало не одного Бродского.

Дошло дело и до наших собственных стихов. Я к этому времени уже умел не придавать большого значения суду товарищей по несчастью. Без такого иммунитета в литературе не выжить. Готовился снести пытку молча — и снес *почти молча*, не удержался только, когда Шнейдерман предложил не включать одно мое стихотворение, со строкой «Не прозябает злак», на том основании, что злак не может прозябать.

— Как? Вы, филолог по образованию, не знаете, что *первое* значение этого слова — прорастать?!

Я даже не за себя вступился: обидно было сознавать, что Шнейдерман не прочел Боратынского. Шнейдерман неожиданно ретировался, не возразив:

— Если так, то я ставлю плюс. — И стихотворение попало в антологию, а больше никуда не попало.

Когда дошло до отбора стихов Светланы В. (Востоковой), я увидел в ее глазах неподдельную горечь. Человек всегда живет надеждой на внезапное признание, да что! на восхищение: поэт на меньшее не согласен, особенно засидевшийся; а тут отбор показал разве что уважение. Даже у меня, человека эстетически близкого, ее стихи живого отклика не вызвали; как, впрочем, и мои у нее. Близость же наша простиралась до полного непризнания Хлебникова; мы с нею сошлись на том, что никогда не включили бы его в *Острова*.

«ВОТ СПИСОК МОЙ СТИХОВ»

Еще раз вглядываюсь в имена островитян... Странный список! Что ни имя, то — былое и думы; притом даже, что половины я лично не знал. Трое вошли в раздел Memoria: Леонид Аронзон, Роальд Мандельштам, Александр Морев. Еще 13 человек (если не больше) умерло с тех пор. Иные из живых с моей кочки кажутся растворившимися в тумане, заживо ушедшими в небытие, — но я знаю, что и я кажусь им в точности таким же с их Монблана. Время больших ожиданий ухнуло в Лету. Никто из нас не видит дальше своего носа, и все мы спихнуты на обочину племенем младым, незнакомым.

Под моим списком предисловия (с рукописной правкой Шнейдермана) стоит дата: 06.1982. Впечатления, на которое, вероятно, рассчитывали часовщики, антология не произвела. Кажется, никогда и напечатана не была, только вывешена в интернете, да и то недавно.

4. К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ

— ... Получил я за книгу порядочные деньги, — говорил мой собеседник, — и ушел с работы. Целый год жил, не работая. И что вы думаете, Юра, я много написал за этот год?

Разговор происходил в 1980 году, в кочегарке на улице Плеханова. Собеседника звали Борис Иванович Иванов. Должно быть, я спросил его, отчего он, печатающийся автор с перспективой вступления в союз писателей, не остался на вольных хлебах, а работает оператором газовой котельной. Мне в ту пору чудилось, что освободиться от сизифовой советской службы — уже величайшее счастье. А там — как же не писать, когда ты свободен? Ответил мне Иванов правильно, спасибо ему.

Лишь к Иванову, сколько помню, принято было в нашем котельном писательском полуподполье обращаться по имени-отчеству. Всем котельным авторам, находившимся в моем поле зрения, было в ту пору меньше сорока; Иванову — 52. Обращения, принятого теперь, утвердившегося в 1990-е годы, — на вы, с полным именем, но без отчества, — не существовало. Я не о кочегарках только говорю: его не было в культуре вообще. Или по имени-отчеству — или с уменьшительным именем (обычно двусложным: Боря, Юра), хотя бы и на вы. По сей день, слыша по отношению к себе: Юрий, я инстинктивно готовлюсь отвечать не по-русски.

Вокруг Иванова год спустя возник так называемый Клуб-81, престранное объединение фрондировавших писателей.

СТУДИЯ

Иванов был прав: нужно работать. Для своего же блага, для душевного равновесия (без которого нет мечты — а значит, и мечты творческой) нужно жертвовать, платить дань. Кому? Странно вымолвить: обществу; языческому божеству большого коллектива. Чем платить? Ответ опять выходит словно бы марксистский: трудом; делом, не вполне отвечающим твоим сокровеннейшим помыслам. Говорю это не словами Иванова, их я не запомнил, а моими теперешними.

Так и вышло в моей жизни. Кочегарки способствовали сочинительству. Для меня они начались в январе 1980-го, а в

1981 году Саша Кобак, державший руку на пульсе самиздата и *второй культуры*, сказал мне: «За последний год ты сделал больше, чем кто-либо в нашем кругу». Но зачем сравнивать с другими? Я с собою сравню: за тот год я сделал больше, чем за предыдущие десять. Счастливая пора! Написанное в ту пору дорого мне по сей день — и всё еще находит читателя.

Однако ж мне — кто бы мог вообразить такое! — предстоял еще один урок, еще одно подтверждение этой нехитрой истины, преподанной Ивановым. Не в 34 года, а в 58 лет, в другой стране, из неудачливого журналиста-внештатника я перешел в фабричные рабочие и почти три года стоял у станка по девять часов в день. Казалось бы, уж тут-то — конец сочинительству. Конвейер; ни секунды без дела; карточку нужно отбивать. А вышло иначе; силы словно удесятерились — и такого душевного подъема в моей жизни вообще не случалось, даже если сравнивать с кочегарками. Я успевал невероятно много. Тринадцать лет, отданные перед этим русской службе Би-Би-Си (о которой доброго слова не скажу), принесли мне несопоставимо меньше (и текстов, и наслаждения — хотя, кажется, я тут повторяюсь, это едва ли не одно и то же) и рядом с фабричными тремя кажутся вообще выброшенными из жизни. Никогда я не был свободнее. Гречанка с крылышками посещала меня у станка ежедневно. Горизонты раздвинулись. Минута хорошо темперированной жизни оказалось долгой, счастливой.

У кочегарки в этом смысле был недостаток. Конечно, во-первых и в главных она была студией. Не я один приходил на смену с пишущей машинкой, книгами и тетрадками в рюкзаке. Сама по себе работа была не бей лежачего. Полагалось только за приборами следить. Пришел, принял смену — и ты на сутки в полном, в почти полном уединении. Сочиняй, читай, мечтай, а то и отдохни, вздремни (понятно, это запрещалось; но лежанки были всюду). Вот в этом и состоял подвох. Кочегарка располагала к расслабленности, к лени. Случалось, после бессонной ночи дома, я, придя на смену, сразу ложился, а рюкзак стоял не развязанным. Оттого-то и времени, живого, настоящего времени, оказывалось в жизни меньше, чем должно было и могло быть, — но всё-таки несопоставимо больше, чем в затхлых советских институтах, где приходилось тратить лучшее на чепуху.

САНСКРИТ И МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Преобладающей фигурой в котельных был писатель; бумага и авторучка — вот всё, что ему требовалось; для художника — кочегарка была скорее клубом, чем студией. Из художников на 1-м Октябрьском участке Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 смутно помню Митю Шагина — с картинами, приводившими на память Куинджи. От Шагина пошли потом *митьки*, но смысл этого культурного протуберанца от меня ускользает; я услышал о нем уже в эмиграции — и много изумился резвости котельных юношей. Я был старше. Для меня давно уже, говоря словами Пушкина, «прошел веселый жизни праздник».

Были и другие: дилетанты-бонвиваны с рассеянными интересами, не желавшие вписываться в жесткие и пошлые рамки советской жизни. Был Костя Бобышев, брат уже эмигрировавшего к тому времени поэта Дмитрия Бобышева. Костя рисовал (один из его натюрмортов до сих пор со мною), писал стихи (сохранилась рукопись посвященного мне стихотворения, в которой я с лупой не могу разобрать некоторых слов), но вообще тяготел к мистике, например, производил какие-то загадочные операции над числом пи. Был Толя Заверняев, изучавший санскрит и, как почти все, что-то писавший. Много позже, в 1990-е, мне передали на русской службе Би-Би-Си его письмо — с просьбой переслать другое, вложенное письмо... принцу Уэльскому. Sancta simplicitas! Он думал, что к представителю британского королевского дома можно вот так, с улицы, обратиться и получить ответ... Были иногородние: Нина Строителева, выпускница юридического факультета из Новосибирска; Оля Фалина из Казани, начинающая художница, потом ставшая археологом. Естественным фоном этой культурной Голконде служила безликая толпа нормальных кочегаров: пьянчужка Макарыч «с Адмиралтейской три», бабка Пелагея «с улицы Декабристов»; какая-то молодуха Галя Грузинская «с белыми от распутства глазами».

Особняком стоял один кочегар: Александр Александрович Калиняк, астроном. Был это маленький старик, выгнанный из Пулковской обсерватории за то, что совершил очередное открытие (которое, за отсутствием человека, можно было присвоить). Его вклад в астрономию признан во всем мире: он догадался сфотографировать ядро нашей галактики в инфракрасном диапазоне. Фактически, он открыл это ядро. У других галактик ядра просматривались, а у нашей, родной и млечной, — нет. Калиняк увидел его первым из людей.

Сколько ему было в 1981-м? Думаю, 65. Мне, 35-летнему, он казался глубоким стариком.

На два кирпича ставился чайник или кастрюля, снизу клался запальник (кусок трубы с краном, на шланге от главного газопровода). Прежде, чем поставить чай, Александр Александрович бросал в пламя запальника щепотку поваренной соли, приговаривая: «Видите спектр натрия? Люблю такую физику...» Я не видел спектра натрия. Физике меня учили плохо, даром, что это слово входило в название оконченного мною факультета. Я был занят стихами и безнадежным, страстным богоискательством. Тут Калиняк мне не помог. Он верил, но Бога получил естественным путем — галактическим, с молоком матери. Моя невнятная религиозность была смятением и отчаяньем, шла не от родителей, а от моей собственной неблагополучной семьи, от моего нищего семейного очага в советской коммуналке; у меня на руках были больные жена и дочь. Кто не испытал этого чувства, не знает жизни: семья — выше храма; особенно — пока дети маленькие. В настоящей семье Бог — рядом, даже если ты полный атеист.

Я рассказал Калиняку, каким унижениям и издевательствам подвергали мою жену в больнице 25-го Октября, куда она попала парализованная, с выпавшим позвоночным диском. Его история оказалась и вовсе трагической: его жену попросту убили; врач скорой помощи сделал ей неправильный укол, от которого она умерла на месте. «Так и пропала моя душенька...», сказал он. Я увидел перед собою одинокого человека без будущего, на краю могилы, у которого отняты любимое дело и лучший друг. Потрясенный, я пробормотал какую-то бестактность: мол, не всё еще для вас потеряно. Он понял меня неправильно и ответил:

— Для меня другие женщины — грязное белье.

Сколько раз я потом повторял эту фразу, про себя и вслух!

Другой урок тоже навсегда запал мне в душу. Узнав, что я добиваюсь разрешения на выезд, Калиняк спросил полуутвердительно:

— Вы ведь, конечно, в Израиль поедете?

Я обиделся — и пережил первый в своей жизни приступ ностальгии. (Первый и единственный. В эмиграции она мне стала казаться болезнью сытых.) Мне почудилось, что меня запихивают в чулан; что родная культура отторгает меня по расовому признаку. Об Израиле я и не думал. Прошли годы, прежде чем я понял: в моей обиде было больше расизма, чем в словах моего собеседника.

13 июня 2007, Лондон

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ ВЕСТНИК №16 (Германия), 2008.

в книге СУМЕРКИ САЙГОНА (из серии Творческие объединения Ленинграда), Zamizdat, СПб, 2009 (с искажениями).

ЮРИЙ КОЛКЕР, 2006, ЛОНДОН